

Александр Сергеевич Лавров

Военный плен и рабство на границах Османской империи и Российского государства в 17 - начале 18 века

Abstract

The history of prisoners of war is traditionally confined to students of recent history. Indeed, during the two world wars the taking of prisoners and forced expulsion of the civilian population became widespread, attracting the interest of historians. The research published as a result of this interest became a kind of call to historians of the early modern period. The history of military prisoners and repatriation can open up three kinds of problems for early modernists. First of all, it represents a cultural transfer connected to repatriation. At that time, when international travel was often a privilege of the elite, prisoners of war – involuntary travellers – came from both elite and non-elite groups. Secondly, that is a formation of identity, because the decision to return to one's home country was important in and of itself, not an obvious choice, so the discourse arising in the context of that decision helps trace some moments in the creation of proto-national identity. Thirdly, there social hierarchies which come to the fore when prisoners are ransomed or exchanged. This last question namely, prisoners of war and social hierarchies, is the central issue of this paper. Using the example of members of the Moscow service class taken prisoner by Crimean Tartars at Konotop and Chudnov, the paper traces the role of family and patronage in paying ransoms for prisoners, postulating that family plays the primary role. The fate of Moscow aristocrats and serfs as well as more or less privileged groups of prisoners will be traced in detail.

Резюме

История военного плена традиционно считается монополией историков новейшего времени. Действительно, именно во время двух мировых войн плен и насильственный угон мирного населения стали массовыми феноменами, что и привлекло к ним интерес историков. Появившиеся в результате этого работы являются своего рода вызовом для историков раннего нового времени. Для последних исследование истории плена и репатриации позволяют раскрыть три рода проблем. Во-первых, это культурный трансфер, связанный с репатриацией. В то время, как зарубежные путешествия часто были привилегией элит, военнопленные – эти путешественники поневоле – происходили как из элитарных, так и из непривилегированных групп. Во-вторых, это формирование идентичностей, так как само по себе решение добиваться возвращения в отечество было важным, не само собой разумеющимся выбором, так что возникающий вокруг этого решения дискурс помогает проследить некоторые моменты становления протонациональных идентичностей. В-третьих, это социальные иерархии, которые выступают на передний план во время выкупа или размена военнопленных. Именно эта, последняя постановка вопроса – плен и социальные иерархии – является центральной для доклада. На примере московских служилых людей, взятых в плен крымскими татарами под Конотопом и Чудновым, в докладе прослеживается роль семьи и патроната в выкупе из плена, причем постулируется первичная роль семьи. Подробно прослеживаются судьба московских аристократов и холопов, как наиболее и наименее привилегированной группы военнопленных.

<1>

Я предпочту начать с того, чтобы кратко заявить о структуре моего доклада. После небольшого введения, я постараюсь представить три проблемы, которые являются центральными в моем исследовании плена – это культурный трансфер, идентичности и двойная социальная иерархия. После этого, я посвящу вторую и заключительную часть моего доклада именно этой

социальной иерархии – а точнее, тому, в какой мере социальная иерархия сохранялась и деформировалась в плену, и тому, что дает экстремальная ситуация плена для более правильного понимания функционирования московского общества. Этот вопрос я попробую прояснить на примере двух групп – аристократов (как наиболее документированных) и холопов (как наиболее интересных в свете данного исследования).

1. Плен как предмет исторического исследования

<2>

Военный плен является монополией историков новейшего времени. Причиной этого стал, в первую очередь, опыт Первой мировой войны, когда плен стал (или – в перспективе сегодняшней темы – вновь стал) массовым опытом, а лагеря для военнопленных стали местом развития революционных или национальных движений. Барак для военнопленных, в котором вместе заключены французские и русские военнопленные, стал наиболее емким символом современности в *Большой иллюзии* Жана Ренуара, пацифистском фильме-предупреждении, снятом в 1937 году. Опыт Второй мировой войны оказался гораздо хуже, военный плен и массовое истребление оказались связанными друг с другом.

<3>

С другой стороны, если вспомнить, что количество военнопленных с той или другой стороны порой оказывалось однопорядковой цифрой с количеством участвовавших в боевых действиях, то придется констатировать, что плен оставался одним из самых массовых опытов. Прошло через него и целое поколение историков – назову здесь такие несхожие имена, как Фернан Бродель, Клаус Майер или Александр Копанев. Все это не могло не подтолкнуть исследовательского интереса, результатом которого стали *Keine Kameraden* Кристиана Штрайта (1978) или *Oubliés de la Grande guerre* (1998) Annette Becker.

<4>

Однако, все это работы историков новейшего времени. Но, если заглянуть в некоторые сборники статей, посвященные плену, и подготовленные французскими и немецкими историками, то легко заметить лакуну, которая находится между работами, посвященными античности (здесь проблему нельзя игнорировать, так как плен являлся одним из главных источников классического рабства), с одной стороны, и войнами Консульства и Империи – с другой стороны. Раннее новое время полностью попадает в эту лакуну.¹

¹ Например: Les prisonniers de guerre dans l'histoire: contacts entre peuples et cultures / Sous la dir. de S. Saucanap. Toulouse, 2003. Впрочем, есть и важные исключения. К ним относится совместная работа французской исследовательницы и британского исследователя, посвященная пленным в битве при Пуатье (1356). Эта книга принципиальна и для поставленной мною темы, потому что она помогает избавиться от некоего «ориентализма», показывая, что явления, хорошо знакомые по османской границе в XVII в., составляли едва ли не всеобщую реальность в западном мире в XIV в. (например, выкуп из плена). Bériac-Lainé F., Given-Wilson C., Les prisonniers de la bataille de Poitiers. Paris, 2002.

<5>

В качестве расхожего объяснения обычно ссылаются на скудость источников. Однако, само по себе обращение к архивным материалам из фондов Разрядного приказа и Сношений с Крымом показало наличие огромной архивной документации, с которой не справиться индивидуальными силами. Работая с этими документами – списками военнопленных и угнанных, распросными речами и челобитными – я с некоторым удивлением констатировал, что подобные документы в прошлом веке почти не привлекли внимания издателей *Дополнений к актам историческим* (или любых подобных изданий Археографической комиссии). Фигура умолчания по отношению к собственным военнопленным, которую я по привычке считал чисто сталинской новацией, оказывается, была не чуждой и историкам XIX века. Все это, конечно, объяснимо в том смысле, что современные военные историографии сформировались в рамках формирующихся национальных историографий, как «большие нарративы» о своих победах и чужих поражениях. Противовес этой традиции представляет собой быстро развивающаяся «*Neue Militärgeschichte*». Кажется, что для историков раннего нового времени пришло время заняться пленом и посмотреть, не могут ли они оспорить монополию историков новейшего времени.

<6>

Мой интерес к теме плена был, во-первых, связан с темой культурных заимствований (или культурного трансфера). Сначала он был достаточно маргинальным сюжетом – с рассказами русских пленников, освобожденных из плена венецианцами или мальтийцами, и вернувшихся в Московию через Западную Европу. Это, условно говоря, те, кто прошли путем Ивана Болотникова (если верить его биографии, рассказанной Конрадом Буссовым).² Меня привлек тот исключительно позитивный образ Западной Европы в целом, и католической Европы в частности, который сложился в этих рассказах. Мои персонажи были обязаны венецианцам или мальтийцем своим освобождением, пользовались поддержкой католических организаций на пути на родину, а иногда и успевали с оружием в руках повоевать на стороне своих освободителей. Все это сформировало у них положительный образ «христианских» союзников. Мне казалось, что этот образ предшествует тому положительному образу Запада, который появится в записках участников и современников Великого посольства. Более того, интерес этого образа, созданного полоняниками, состоит в том, что он относится к «народной», а не к элитарной культуре, а, следовательно, заставляет и задуматься о том, так ли элитарно и неукорененно было петровское западничество. Более того, мне казалось, что все это заставляет вновь взглянуть на дискурс Священной лиги, к которой Московия примкнула в 1686 г., и задуматься над тем, не выходит ли этот дискурс за рамки обычной внешнеполитической риторики и не является ли он по сути первым обсуждением вопроса об интеграции Московии в Европу.

² Буссов К. Московская хроника, 1584-1613. М.- Л., 1961. С.138 (русский перевод), 268 (немецкий оригинал).

<7>

По отношению к плену в целом этот сюжет был маргинален, так как сама по себе группа вернувшихся через Европу была меньшинством. Со временем, вопрос о культурном трансфере конечно, получил другое измерение – это вопрос о русско-оттоманско-крымском культурном трансфере. В российской историографии (кстати говоря, совершенно так же как и в польской или в украинской) систематические угоны крымцами мирного населения рассматриваются как фундаментальное противоречие, не допускавшее нормализации отношений с крымцами. Все это так. Чтение пословиц, записанных в XVII в., убеждает в том, что крымцы среди других соседей Московского государства обладали наихудшими коннотациями («Гонец из Крыма, как таракан из дыма»). Мои изыскания показывают, что при этом, парадоксальным образом, именно массовый плен (или угон населения), переговоры о выкупе, размене и освобождении привели к некоторого рода принудительному сближению двух обществ, крымского и московского. И с той, и с другой стороны сформировались группы профессиональных посредников, для которых не было языковых барьеров. Для того, чтобы добиться освобождения двух своих родственников, находящихся в псковской тюрьме, двум крымцам в 1680-х годах надлежало не только привезти двух московских полоняников для размена. Надлежало вести переписку с московскими властями, которые должны были перевезти пленных из Пскова в Москву, в ходе которой оба крымца подавали образцовые челобитные (очевидно, за умеренную плату составлявшиеся переводчиками из Посольского приказа). Я уверенно утверждаю, что ни с одной другой страной москвиты не поддерживали такой интенсивной частной переписки, как с Крымским ханством – речь шла о письмах пленных, просивших своих родных и покровителей выкупить их.

<8>

Сами по себе первые попытки изучения культурного трансфера привели к важной дифференциации между двумя моделями – собственно крымской и оттоманской. Российские историки патриотического направления не любят Крымское ханство – и совершенно зря. Если поставить во главу угла, как главное, сохранение своей собственной культурной идентичности, то придется признать, что Крымское ханство было замечательным соседом. В интересующую нас эпоху Крымское ханство представляло собой «закрытое общество» с нулевым интегративным потенциалом, интегрироваться в которое было чрезвычайно трудно, если не невозможно. Православные греки, армяне-григориане, евреи жили в Крыму, но в таких же герметически замкнутых конфессиональных сообществах. Постольку, поскольку русские или украинские пленники попадали сюда, они оказывались в кругу «своих», где всякое улучшение социального статуса было исключено, зато культурная и религиозная идентичность были в безопасности. Уже в силу этого крымское общество не абсорбировало выходцев извне и представляло собой что-то вроде идеального культурного водораздела между *Slavia orthodoxa* и османским миром.

<9>

В противоположность этому, оттоманская модель представляла собой крайне опасный вызов, потому что она была интегративной, представлявшей большие возможности для социального роста. В одной из моих работ я анализирую это на примере Леонтия Сухотина, жильца, взятого в плен крымцами под Конотопом и проданного в Стамбул. В Османской империи Сухотин был освобожден из рабства, принял ислам, получив при этом имя Осман, некоторое время жил в качестве свободного человека, а потом записался в «семени» – регулярную конницу, служившую крымскому хану, но формировавшуюся из турок. Сейчас я пытаюсь проследить, насколько исключительным был случай Леонтия-Османа Сухотина, и поэтому собираю по крупицам сведения о других «потурченцах». Я пытаюсь проверить мою рабочую гипотезу, согласно которой переход в ислам имел место обычно в османских владениях, а не в крымских (сложность состоит в том, что территория Крымского полуострова представляла в описываемый период мозаику владений ханства и империи).

<10>

Во-вторых, изучение темы плена дает интересный взгляд на проблему идентичности. Здесь исследователь не может не откликнуться на авторитетную историографическую традицию, согласно которой русская (московская) протонациональная идентичность в значительной мере связана была с православием.³ Кажется, что это должно было бы быть особенно резким для московско-крымского пограничья, где граница могла быть осознана и как конфессиональная.

<11>

Однако, уже первые обращения к документам привели к обескураживающим выводам. Оказалось, что во время обменов московская сторона на общих основаниях выменивала из крымского плена как православных служилых людей, так и мусульман. Надо сказать, что особенно удивительной оказалась для меня здесь позиция крымских властей, отпуская мусульман обратно в Московское государство. Правда, с обеих сторон были нюансы. Кажется, московские власти на местах предпочитали в первую очередь обменять православных, но столичные власти были за равные шансы. Особенно интересны некоторые жесты крымских властей – например, единовременный отпуск за московский рубеж десяти «полоняников», носивших явно тюркские имена, без какого-либо указания на полученный выкуп.

<12>

Таким образом, рабочим концептом властей на степной границе было не «сообщество верующих», а, если так можно сказать, «сообщество подданных царя» (я немного боюсь говорить в российском контексте о протонации или политической протонации). Более того, я осмеливаюсь утверждать, что именно подобное видение было интериоризовано и рядовыми

³ См. Cherniavsky M. *Tsar and People. Studies in Russian Myths*. New York, 1968; Bushkovitch P., *Religion and Society in Russia: the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. New York, 1992.

участниками событий. Дело в том, что полоняники, рассказывавшие о своем «выходе» на Русь, обычно артикулировали причины, заставившие их вернуться (то же самое характерно и для рассказах о злключениях в Крыму, в которых подчеркивались утраченные ценности). Интересная формулировка здесь принадлежит Василию Григорьевичу Люшину, сыну служилого человека из Новгород-Северского уезда, который так объясняет причины своего выхода в челобитной, адресованной царю Алексею Михайловичу: «а ныне я, холоп твой, помня твое великого государя милость и крестная целованья, и помня породу свою, вышел ис полону».⁴ Особый интерес последнему заявлению придает то, что Люшин попал в плен четырех лет от роду, то есть никак не успел целовать крест (значит, для него действительно крестное целование отца), более того, поскольку он попал в плен в 1644. г., то речь никак не могла идти о крестном целовании Алексею Михайловичу, а только Михаилу Федоровичу (значит, и в этом случае крестное целование тоже «передается» от отца к сыну). Конечно, тема освобождения из рук «бусурман» присутствует в челобитных, поданных попавшими в плен представителями духовенства, или просто полоняниками, на которых оказывалось конфессиональное давление, но она не является определяющей для большинства источников.

<13>

Последнее тем более интересно, поскольку в последние годы нарратив западноевропейских пленников в Османской империи или в княжествах Магриба оказался хорошо изученным – в первую очередь, благодаря работам Петера Буршеля. Центральной темой здесь оказывается тема христианского мученичества (в конечном счете, отсылающая к страстям Христовым и к образу страдающего Христа), а центральным образом – история Иосифа Прекрасного, проданного в рабство.⁵ Отметим, что этот сюжет и эта тема, целиком и полностью отсутствующие в большинстве документов полоняников, появляются в тех немногих произведениях полоняников, которые вошли в литературный оборот, например, в «Челобитной» Василия Полозова.⁶

<14>

Тема христианского мученичества звучит в «Челобитной» скрыто, не в прямом автобиографическом, но в косвенном контексте. Полозов рассказывает историю, свидетелем которой он был у церкви Гроба Господня в Великое Воскресенье. Увидев чудо с свечой, зажигающейся у Гроба в руках у иерусалимского патриарха, турецкий паша уверовал в Христа

⁴ Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210 (Разрядный приказ). Столбцы Белгородского стола. № 592. Л. 255.

⁵ Burschel P. Verlorene Söhne. Bilder osmanischer Gefangenschaft in der frühen Neuzeit // *Kriegs / Bilder in Mittelalter und Früher Neuzeit*. Hrsg. B. Emich und G. Signori. 2009 (Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 42). S.157–182. Отметим, в англоязычном нарративе, образ пленного, который в силу твердости своей веры или в силу своего интеллектуального превосходства «побеждает» самих рабовладельцев.

⁶ Это тем более поразительно, что сюжет об Иосифе Прекрасном имеет особую судьбу в древнерусской литературе, начинающуюся с борисоглебского цикла. В славянском тексте купцы, купившие Иосифа у братьев, названы измаильтянами – этнонимом, который часто применялся для обозначения мусульман, что еще раз должно было подчеркнуть правоту сравнения.

и исповедовал свою новую веру. За это он был отвезен в «приказ» и сожжен неподалеку от «Лобного места» – эта русификация терминологии может здесь показаться даже ироничной. Таким образом, мучеником стал новообращенный, человек только что обретший Христа – но не сам автор.

<15>

Зато тема Иосифа Прекрасного становится стержнем всей «Челобитной» Василия Полозова. Полозов не сравнивает себя прямо с Иосифом, но он по крайней мере три раза возвращается к этому сюжету. Во-первых, он перешел «через Яковлев мост, которой мост построил Иаков, отец Иосифа Прекрасного, чрез Иордан реку». При этом упоминает о «граде Иаковле», стоящем на одной стороне этого моста. Во-вторых, на пути в Египет он видел «ров, в котором сидел Иосиф от братии». В-третьих, в «Египте» – очевидно, речь идет о Каире – ему показали «палату Иосифа Прекрасного», где «у темницы был: и глубина той темницы 100 сажень». Кажется, что все путешествие в Египет Полозов предпринял как своего рода паломничество, посвященное памяти Иосифа Прекрасного.⁷

<16>

Очевидное присутствие «библейских ключей» в текстах немецких полоняников и их отсутствие в большинстве текстов московских неудивительно – в одном случае, мы имеем дело с результатами конфессионализации, а в другом случае – с ее незавершенностью. Заканчивая эту часть моей аргументации, посвященной политическому, центральному характеру идентичности, формировавшейся на степной границе, я должен сказать, что всячески уклоняюсь от генерализации моих выводов. Вполне возможно, что на Владимирщине, где не было набегов и где идентичность складывалась без ежедневной конфронтации с «другими», идентичность была другой, более локальной. Но особенность границы как раз и состоит в том, что она не просто лучше обслужена источниками, но и в том, что она может рассматриваться как наиболее важная «кузница» подобной идентичности.

<17>

В третьих, работа с документами быстро привела к противопоставлению крымского и османского рабства. Крымское рабство представляется мне в целом институтом, ориентированным на выкуп, а значит, и на социальный статус «полоняника». Напротив, как только полоняник вступал на мостки корабля, который отправлял его в Анатолию, его социальный статус стирался – оставались лишь базовые характеристики (мужчина, женщина) или умения (например, музыкант). Этот социальный статус носил двойной характер – в смысле готовности государства и ближайшего окружения полоняника платить за его освобождение. Наиболее простой сеткой оказывалась здесь цена (московские власти предпочитали твердые

⁷ Белоброва О.А. Черты жанра хождений в некоторых древнерусских письменных памятниках XVII века // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1972. Т. 27. С. 257-272.

цены, в зависимости от чина). Ситуация осложнялась тогда, когда полоняников меняли, а не выкупали. Ставившийся вопрос выглядел примерно так: можно ли менять мурзу на сына боярского? Ясно, что за подобными вопросами иногда возникали и другие, гораздо более общие (например, можно ли менять мужчину на женщину – этот вопрос был настолько сложным, что для прецедентного положительного ответа на него потребовалось личное вмешательство царя Федора Алексеевича).

<18>

В целом, подобного рода переговоры привели к формированию некоей двойной социальной иерархии, в которой московские и крымские чины и институты «подгонялись» друг к другу. В применении к крымскому социуму, выработано было понятие «черных татар», которое иногда было конкретизировано – «черные, и незнатные, и непородные татары» (которым противопоставлены были мурзы, а также приближенные и родственники хана).⁸ По отношению к ним установка была простая – «велено тех татар распросит, черные ль они татаровя и буде в распросе скажут, что они черные, и до них никакова дела нет, и их велено отдать для розмены». ⁹ Со временем статус «черного татарина» стал самоидентификацией. Так, Темерко Булатов (деревня Ибрагим) ответил на вопрос – «про то он не ведает, потому что он татарин черной и от городов живет далеко» (совершенно так же, как русские в это время говорили на допросе, что от города «удалели»).¹⁰ Иногда доходило до явной иронии, которая сквозит в ответе крымских гонцов боярину Артамону Матвееву о судьбе пленного боярина Шереметева:

<19>

«Как ближние люди боярина Василия Борисовича Шереметева и иных пленных людей ковали и что над ними делали, того мы не ведаем. Мы люди черные, а не думные, и ближние люди к думе нас не припускают».¹¹

<20>

Аналогичный процесс упрощения проделан был и с московской социальной иерархией – она виделась из Бахчисарая как знатное меньшинство, обладавшее наследственным властным и экономическим статусом, и безличное большинство, пригодное для размена один на один.

⁸ РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Столбцы Приказного стола. № 2375. Л. 35. Указ царя Петра Алексеевича в Разряд боярину Тихону Никитичу Стрешневу с товарищи, 6 ноября 1701 г.

⁹ РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Столбцы Приказного стола. № 2375. Л. 34. Указ царя Петра в Посольский приказ боярину Федору Алексеевичу Головину, 21 октября 1701 г.

¹⁰ См. его распрос в Ярославской в приказной избе думным дьяком Иваном Ивановичем Баклановским и дьяком Максимом Дмитриевым, 27 марта 1680 г. (РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 947 Л. 230).

¹¹ Барсуков А. Род Шереметевых. Кн.VII. СПб., 1899.

2. Плен и социальная иерархия

<21>

Для того, чтобы разобраться в вопросах социальной иерархии и плена, существуют исключительные источники, возникшие в результате двух последовательных поражений русских войск. В июне 1659 г. под Конотопом передовой отряд, возглавляемый князем Семеном Романовичем Пожарским, попал в плен. Сам Пожарский был почти сразу же казнен по приказу хана, источники сообщают о гибели пяти тысяч служилых людей. В октябре 1660 году русская армия под командованием боярина В.Б. Шереметева была разгромлена и взята в плен под Чудновым. «Цвет московской конницы, совершившей счастливые походы 54 и 55 года, сгиб в один день <...>, – писал С.М. Соловьев о чудновском поражении, – Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения».¹² Никогда – добавлю я – в плен не попадало такое количество московских служилых людей, занимавших видное место в иерархии. Московские дипломаты (в их числе был направленный в Крым еще в 1658 г. посланник Яков Якушкин, задержавшийся там до своей смерти в 1666 г., а также приехавший позднее подьячий Гаврила Михайлов)¹³ должны были собрать сведения о тех, кто выжил и находится в плену. Результатом стало несколько списков (в том числе «бахметевский», составленный подьячим Иваном Грибовым, направленным в Крым с посланником Ефремом Юрьевичем Бахметевым специально для переписи пленников¹⁴). Вместе списки составляют увесистый фолиант, никогда не ставший объектом исторического исследования.

<22>

Среди этих списков особое место занимает не такой большой по объему, но необычный по содержанию список, содержащий указания на письма пленников с просьбой о помощи (каждый раз указан отправитель и адресат). Вот пример такой записи: «Иван Корепин в грамоте

¹² Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VI, Т. 11-12. М., 1961. С. 51. В последние два десятилетия сражение под Конотопом стало предметом оживленной – и крайне идеологизированной дискуссии между российскими и украинскими историками. См. Конотопська битва 1659 року. Збірка наукових праць. Київ, 1996; Смирнов Н.В. «Как под Конотопом упадок учинился...» (мифы и историческая реальность) // Труды по русской истории. Сборник статей в память о 60-летию И.В. Дубова. М., 2007; Бабулин И.Б. Князь Семен Пожарский и Конотопская битва, СПб., 2009. Можно согласиться с российскими историками в том, что украинские хроники преувеличивают потери с московской стороны. Кажется, что наиболее достоверными являются данные о захоронении тел, оставшихся на месте сражения, выявленные И.Б. Бабулиным (2986 тел). Эти цифры сопоставимы с данными о потерях, которые приводятся в разрядной документации (4769 человек). При этом стоит отметить, что в первую из этих цифр не попали пленные, которым сохранили жизнь, а во вторую – боевые холопы, которые не учитывались в разрядной документации. С другой стороны, украинские историки несомненно правы, настаивая на том, что Конотоп был именно поражением, имевшим большие последствия. На подобное восприятие сражений под Конотопом и под Чудновым указывают записи в местных летописях, а также рассылка списка имен погибших для записи в синодиках, носившая исключительный характер. Об опыте поражений и об его переработке в исторической памяти, см.: *Kriegsniederlagen. Erfahrungen und Erinnerungen* / Hrsg. H. Carl, H.-H. Kortüm, D. Langewiesche und F. Lenger. Berlin, 2004.

¹³ А.А. Новосельский, Проблемы источниковедения, разновидности крымских статейных списков XVII в. и приемы их составления // Проблемы источниковедения. Вып. IX. М., 1961. С.163-181, здесь С.193.

¹⁴ РГАДА. Ф.123 (Крымские дела). Оп.1. № 42. Л.1-79 об.

пишет к отцу своему к Тимофею Яковлеву, живет в селе Чаване у татарина у Ширибея» (Л. 276). К сожалению, текст этой записи, абсолютно типичный, не позволяет ничего сказать о чине Корепина или его отца, равно как и о том, идет ли речь о москвичах или об обитателях Черты.

<23>

Начиная со знаменитой статьи Эдварда Кинана о «московских народных политических путях», тезис о семье и патронате как двух базовых социальных структурах Московии (при слабой роли ассоциаций) активно дебатруется в историографии.¹⁵ Исследуемый список дает возможность еще раз проверить этот тезис, взвесив роль семьи и патрона в экстремальной ситуации плена. Пары отправителей и получателей решительно распадаются на три группы. Главной инстанцией, к которой обращались полоняники была семья (27 писем). Наибольшим авторитетом пользовались родители – мать или отец, или оба вместе (один раз вместе с родителями появляется дядя, и еще один раз – брат). Им адресовано 16 писем. Второе место занимают братья и сестры (девять писем). При этом, два письма адресованных (одной и той же) сестре являются исключением – сестра была старицей монастыря, и, очевидно, речь шла не о ее сбережениях, а о займе в монастырской казне. Только два письма не укладываются в эти две группы – написанное племянником дяде и написанное однородцем однородцу (их объединяет фамилия Волоцкий). Традиционный вывод о падении значения рода и о доминировании малой семьи звучит как-то малоубедительно, потому что практически никто из писавших не обращается к жене.

<24>

Ярко выраженных писем покровителям всего четверо – они адресованы дьяку Ивану Уварову, Григорию Соковнину, окольниковому князю Петру Алексеевичу Долгорукову и боярину князю Григорию Сунчелевичу Черкасскому. Иерархически приниженный статус отправителей особенно виден в том, что по крайней мере двое из них принадлежат «служилому городу» (мещеренин и рыленин).

<25>

Однако, на основании этого трудно делать вывод о незначительности патроната. Дело в том, что существует еще семь пар корреспондентов, в которых отправитель и получатель носят разные родовые прозвания, а степень родства не оговорена. Это могут быть клиентельные отношения (например, в двух случаях специально оговаривается, что отправитель является рязанцем или козловцем, тогда как провинциальный статус получателя не очевиден). Но, по крайней мере, одно из этих писем явно адресовано посредникам – «Саркису и Айдину» (кажется, необычное сочетание армянского и тюркского имен может быть интерпретировано

¹⁵ Keenan E.L., *Muscovite Political Folkways* // *Russian Review*. Vol. 45. 1986. P.115-181. См. новейшую работу о патронате и клиентеле в Московской Руси: Krom M.M. *Private Service and Patronage in Sixteenth-Century Russia* // *Russian History*. Vol. 35. 2008. P. 309-320.

именно так).¹⁶

<26>

Для того, чтобы понять роль семьи и патроната в экстремальных условиях выкупа из плена, наиболее интересными оказываются две группы – представители боярской аристократии и холопы. В случае высших представителей боярской аристократии патронат невозможен – можно было бы метафорически сказать, для них разве что царь годился бы в патроны. Зато здесь мы имеем историографическое представление о крайне важной роли боярских кланов в жизни Московского государства – именно поэтому любопытно было бы проверить, являлся ли клан структурой, способной выручить своего представителя в любых условиях, не останавливаясь перед ценой. В случае с холопами ситуация прямо противоположная. Хотя многие боевые холопы, очевидно, были женаты, семья здесь не играла своей социальной роли (например, она не могла бы помочь в выкупе). Зато зависимость от владельца, типологически сходная с отношениями патрона и клиента, была здесь единственной опорой, на которую пленный холоп мог рассчитывать.

<27>

В случае с холопами, прежде всего, бросается в глаза их малая процентная доля в списках. В Бахметьевском списке, включающем 1554 имени, удалось выделить только 16 холопов (в том числе 11, упомянутых отдельно и четверо, упомянутых вместе с их владельцами, например, «Матвей Богданов сын Мотовилов с человеком»). Последний пример красноречив и говорит о том, что в записи о боевом холопе могло отсутствовать даже его имя, но имя холоповладельца присутствовало всегда. Понятно, что процентная доля холопов в московском войске должна была быть гораздо выше (согласно подсчетам П.В. Седова, в русском войске на одного служилого человека московских чинов приходилось до двух боевых холопов). Куда же делись оставшиеся холопы? Можно предположить, что их отсутствие в списке связано было с тем, холопы в плену были сразу разделены на привилегированных холопов аристократии (которые могли быть выкуплены своими прежними владельцами) и основную массу холопов, которая просто не предлагалась к размену. Основное большинство холопов рассматривалось не как полноценные военнопленные, а как часть добычи. Менялся не статус, менялись владельцы.

<28>

Примечателен и другой фактор – холопы крайне редко «выходили» за московский рубеж. Создается впечатление, что именно основная масса (непривилегированные холопы) занимала настолько низкое положение в Московском государстве, что превращение в рабов согласно исламскому праву не меняло их статуса в лучшую или худшую сторону – отсюда и слабая воля к возвращению на родину – и это при том, что по московскому праву возвращение автоматически превращало холопа или владельческого крестьянина в свободного человека.

¹⁶ РГАДА. Ф.123 (Крымские дела). Оп.1. № 42. Л. 273- 276 об.

<29>

В этом смысле чрезвычайно интересными оказываются четыре случая упоминания холопов как находящихся в плену вместе с их владельцами. Здесь стоит еще раз упомянуть о том, что анализируемые списки не являются списками потерь, составленными с московской стороны, но списками военнопленных, составленными с крымской стороны, поэтому совместное упоминание холопа и холоповладельца говорит о том, что они не были отделены друг от друга, но находились в плену вместе (возможно, входя в состав пятой части пленных, полагавшейся хану). Именно здесь парадоксальный характер холопства оказывается наиболее очевидным – оно оказывается уважаемым даже в той системе координат, в которой разъединялись семьи. Очевидно, подразумевалось, что представители элит и в плену не могут обходиться без слуг и помощников. Зато статус этих слуг и помощников представлял своего рода плен в квадрате – они были военнопленными, сохраняя при этом зависимость от своих военнопленных владельцев.

<30>

Чтобы пояснить этот правовой абсурд, очень полезной оказывается одна деталь, связанная с боярином В.Б. Шереметевым. Попав в плен с довольно большим штатом, Шереметев регулярно отправлял в Москву гонцами своих холопов. Интересно, что крымские власти ни разу не воспрепятствовали подобной практике – хотя с правовой точки зрения она и являлась безумием, так как военнопленный, проехав Перекоп, превращался в репатрианта. Но не менее безумной с той же точки зрения была и следующая просьба Шереметева, заметившего однажды, что посылки сокращают его штат и решившего попросить у Алексея Михайловича прислать ему трех его холопов: «Да я ж, холоп твой, будучи в неволи, обезлюдел. Позволь, государь, мне, холопу своему, для моего безюдьства взять трех человек людишек моих».¹⁷ К сожалению, мне неизвестна непосредственная реакция московских властей на эту просьбу, но замечательно, что Шереметев сам вряд ли считал ее необычной.

<31>

Создается впечатление, холопство был одним из самых понятных для крымцев социальных отношений, существовавших в Московском государстве (можно сказать и наоборот – крымское рабство было одним из самых понятных для выходцев из Московского государства социальных отношений, существовавших в ханстве). Неудивительно, что реликты холопства выживали и в плену – это давало крымцам возможность лучше стратифицировать пленных. Отношение холопства признавалось настолько важным и фундаментальным, что оно оказывалось как бы в конкуренции с отношением подданства. Холопство разрушало единый правовой статус военнопленных – в кругу военнопленных, права которых и без того были минимальны, выделялась особо бесправная группа, которую даже плен не освобождал от зависимости. Неудивительно, что холопство исчезнет в ходе Северной войны.

¹⁷ РГАДА. Ф.123. Сношения с Крымом, 1673 г. № 2. Л. 7.

<32>

Несколько иной пример представляет собой поведение московских аристократов в плену. Я позволю себе пожертвовать историями князя Семена Пожарского или князя Андрея Ромодановского и сконцентрировать все мое внимание на одной фигуре – на боярине Василии Борисовиче Шереметеве. Шереметев попал в плен под Чудновым вместе со своим войском, попал, как он утверждал, предательски, так как заключенная им капитуляция предусматривало свободный выход для него и его подчиненных. Особый статус Шереметеву в глазах крымцев придавало то, что он попал в плен вместе со своим окружением и с группой холопов. Почти сразу же начавшиеся попытки московской стороны выкупить Шереметева не привели к успеху, и он пробыл в плену до заключения Бахчисарайского мира в 1681 г. Создалась своего рода парадоксальная ситуация, в ходе которой самый «дорогой» пленник, которого когда либо удавалось заполучить крымцам, оставался невыкупленным на протяжении двух десятилетий, несмотря на периодические попытки обеих сторон прийти к соглашению. Современников это очень удивляло. Согласно записанным на Украине слухам,

<33>

«была рада у всех татар, и на той раде говорили: боярина Василья Борисовича Шереметева на размену везти ли, и что откупу взять за него? Будто бы положили на том, что денег за него не имать, и на размену не везти. Будет де великий государь изволит им за него дать украинских три города со всеми жителями, и они боярина отдадут. А деньги де взять им безчестно, у них де много русского ясырю: продадут ясырь, и денег будет столько ж. И то де им в честь, что у них в вязнях царского величества ближний человек, боярин. И о том будто бы все на раде постановили: боярина Василья Борисовича Шереметева не отдавывать николи».¹⁸

<34>

Само по себе это сообщение носит сказочный характер, но оно верно передает некий нерв всей истории – присутствие символических, статусных и материальных ценностей в выкупной сделке. Если следовать версии рассказчика, крымская сторона окончательно предпочла символическую сторону – превращение пленного боярина в атрибут крымского двора – сиюминутной денежной выгоде.

<35>

История плена и выкупа Василия Борисовича Шереметева представляется показательной и интересной с нескольких сторон. Во-первых, это некая история взаимного непонимания двух сторон, крымской и московской – непонимания, которое в последнее время стало одним из основных предметов «культурной истории дипломатии».

¹⁸ Барсуков А. Род Шереметевых. Кн.VII. С.405.

<36>

Поскольку в литературе часто утверждается, что Москва и наследники Золотой Орды объединяли некоего рода принципы «степной дипломатии», то приходится заметить, что в последней трети XVII в. этот общий фундамент был, очевидно, утрачен. Прежде всего, московские власти регулярно посылали Шереметеву жалованье (тем самым автоматически играя на повышение выкупной суммы). Один раз Шереметев получил даже около двухсот золотых.¹⁹ Не будет преувеличением сказать, что сама по себе выплата жалованья затемняла юридический статус Шереметева (который, как военнопленный, не мог выполнять своих служебных обязанностей). Кроме того, московским властям однажды пришла в голову идея, что они могут повысить статус Шереметева, подключив его к участию в переговорах. Крымская сторона согласилась на это, в результате чего в состав московских делегаций оказался включен военнопленный, на которого крымцы могли оказывать давление (в том числе и для того, чтобы узнать о намерениях русской стороны). Шереметев просто не мог вести переговоры, потому что сам был в них разменной монетой. Не случайно, что во время приезда в Крым посольства Тяпкина и Зотова Шереметев со слезами «благодарил Бога и государскую милость, что он от того дела учинен свободен», потому что в прежнее время, когда за свое участие в переговорах «имел от бусурманов великое подозрение, и убытки, и невольные трудности».²⁰

<37>

Во-вторых, московские власти совершенно переоценили лояльность действующих лиц – в то время как последние, вместо того, чтобы выполнять предписанное, делали только то, что считали нужным. Если исходить из служебного старшинства или из формального местнического счета, то Шереметев, как безусловно первый среди пленных, должен был бы быть выкуплен первым. Но местнический счет не действовал в плену. Более того, неформальный авторитет боярина, который отсутствовал на московской сцене, падал год от года, и в этом ему пришлось с горечью убедиться. В 1669 г. в крымский плен в результате нелепой стычки попал молодой князь Андрей Ромодановский. Ромодановский был сыном боярина князя Григория Ромодановского, нового командующего московскими войсками на Украине. Когда в Крым прибыли московские дипломаты, они приложили все силы для освобождения князя Андрея, но не захотели оставаться в заложниках до времени присылки выкупа за Шереметева (тем самым прибавив Шереметеву еще десять лет плена).²¹

<38>

Очевидно, московские власти не видели особой проблемы в том, что отец боярина Василия, боярин Борис Шереметев оставался киевским воеводой, а Григорий Ромодановский – одним из

¹⁹ Там же. С. 394.

²⁰ Список с статейного списка <...> Василья Михайлова сына Тяпкина <...> дьяка Никиты Зотова. Сообщ. Н. Мурзакевич // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. 2. Одесса, 1850. С. 568-658, здесь С. 588.

²¹ Барсуков А. Род Шереметевых. Кн.VII. С. 301-302.

двух командующих русскими войсками на Украине во время Чигиринских походов. Молва упорно твердила о том, что медлительность Ромодановского-старшего во время военных действий связана не с местническими счетами, а с нежеланием осложнить судьбу попавшего в плен сына. О том же самом сообщается в одном источнике, происходящем из Дунайских княжеств.²² Развязка этой истории последовала во время хованщины, когда старший князь Ромодановский был убит за то, что «под Чигириным нерадетельно служил, дружа салтану турецкому и хану крымскому ради сына своего, тогда бысть в плену, в неволи, дабы не мучили». Князя Андрея Ромодановского восставшие пощадили за то, что он «двадцать лет» находился в Крыму.²³ Никак не стремясь завышать роль плена и превращать его в центральный феномен, приходится все же заметить, что история Шереметева должна была еще раз показать, что традиционные институты не работают, заставила задуматься о том, как гарантировать статус тем «ближним людям», которые по тем или иным причинам надолго окажутся далеко от Москвы (это заметно в проекте нового служебного старшинства, подготовленном в канун отмены местничества).

<39>

В-третьих, и это самое интересное, Шереметеву не удалось стать посредником между крымскими и московскими властями. Шереметев на самом деле регулярно сообщал московским властям о крымских новостях (надо сказать, справедливости ради, что практически все его отписки, за одним исключением, написаны уверенной рукой приказных канцеляристов). Сам Шереметев неохотно брался за перо, поскольку, как он утверждал, «писать мало умею, да и вижу худо» – единственный его автограф является соединением плохого почерка и стандартных формул челобитья.²⁴ Окруженный в плену людьми, говорившими по-татарски, по-турецки и на иврите, Шереметев не выказал никакого желания выучить хотя бы один из этих языков.

<40>

Этим он решительно отличался от юного сына священника Василия, будущего Варсонофия Казанского, использовавшего проведенное в крымском плену время для изучения татарского языка и арабского алфавита («бесерменского языка и грамоты срацынской») и даже для каких-то бесед о Коране (или, согласно выражению агиографа, о «мухамедовых скверных

²² Цит. по: Soreanu M. Le destin de Kara Mustafa Pacha en perspective européenne. Image et vérité // Revue des Etudes sud-est européennes. Vol. XXV. 1987. С. 69-83. Этот источник содержит по крайней мере одну неточность – в нем утверждается, что в обмен на бездействие Ромодановского-старшего был освобожден Ромодановский-младший. На самом деле, князь Андрей Ромодановский был освобожден вместе с Шереметевым только в 1681 г.

²³ Цит. по: Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969, С. 155. Примечательна ошибка, допущенная восставшими – Ромодановский провел в плену двенадцать, а не двадцать лет. Двадцать лет в Крыму провел Шереметев, случай которого, очевидно, был настолько знаковым, что биографии остальных знатных пленников были наделены элементами его биографии.

²⁴ Барсуков А. Род Шереметевых. Кн. VII. С. 173. Фототипическое воспроизведение этой челобитной–автографа см. там же, между стр. 159 и 160.

преданиях»), и впоследствии использовавшего свои знания для миссионерской деятельности в Казани.²⁵ Надо сказать, что подобные образцы любознательности были и с другой стороны – назовем османского пашу, попавшего в австрийский плен, выучившего немецкий язык, перу которого принадлежит блестящая история его плена, а также написанная на турецком история Империи Габсбургов.²⁶ Литературные амбиции были чужды Шереметеву – он оставил лишь ряд челобитных, но никакого отчета о своем плене.

<41>

Неудивительно, что деятельность Шереметева была слабо оценена и московскими властями. В 1681 г., после возвращения Шереметева из плена, он встретился с нидерландским резидентом фан Келлером, которому представлял себя кем-то вроде будущего советника царя по военным вопросам. Согласно Шереметеву, «в период плена его часто посещал правитель Крыма, который вместе с ханом разделял верховную власть в этой стране, и они много беседовали». Кроме этого, Шереметев встречался будто бы с другими военнопленными, в том числе, и бывавшими в Турции, в результате чего он «узнал много важных вещей, сообщение о которых открыло глаза его царскому величеству и привело ко многим изменениям в армии и в администрации». Реальность оказалась иной. Согласно П.В. Седову, молодой Федор Алексеевич даже не принял Шереметева.²⁷ Я не был бы так категоричен, но, очевидно, что никакой роли Шереметеву отведено не было. Его смерть в 1682 г. можно связать не только с подорванным пленом здоровьем, но и с отсутствием какой-либо роли, предусмотренной для него после освобождения. С другой стороны, именно накануне освобождения Шереметева московские переводчики перевели целый ряд трудов польских авторов, посвященных Османской империи и Крымскому ханству. Таким образом, пленные аристократы, даже если они и однажды вознамерились стать посредниками между двумя культурами, не выполнили своей самой главной задачи.

<42>

Завершая доклад, хотелось бы отвлечься от отдельных подсчетов и выписок, и попробовать посмотреть на источник – списки полоняников – в целом. Надо сказать, что факт плена заставил Московское государство больше узнать о своих подданных, и более точно систематизировать факты. В списки попали и те, кто очень редко учитывался государством – женщины и несовершеннолетние. Сама по себе деятельность московских дипломатов в Крыму была по своему содержанию консульской службой (именно подобные функции выполняли и западноевропейские консулы в Алжире и в Триполи в XVIII в.). Именно поэтому отношения с

²⁵ Маслов П.В. Один из русских пленников в Крыму, св. Варсонофий, епископ Тверской, просветитель Казанского края // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Год 26-й. № 49. Симферополь, 1913. С. 164-177.

²⁶ Osmân Agha De Temechvar. Prisonnier des infidèles. Un soldat ottoman dans l'empire de Habsbourg / Récit traduit de l'ottoman, présentée et annotée par F. Hitzel. Paris, 1998.

²⁷ Седов П.В. Закат московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 455.

Крымом не кажутся мне «задворками» московской дипломатии – напротив, по моему убеждению, именно здесь формировались институты и техники, которым принадлежало будущее. Прежде всего, это касалось идентификации подданных и систематизации информации о них. К сходному выводу приходят и исследователи, работающие с материалами о выкупе западноевропейских пленников из княжеств Магриба, утверждающие, что совокупность связанных с этим практик способствовала «формированию современного государства». Речь идет о «практиках контроля, идентификации личности и проверки историй», рассказываемых освобожденными, которые были разработаны религиозными и светскими организациями, действовавшими в итальянских городах задолго до того, как будут взяты на вооружение государствами (как это случилось во Франции при Кольбере).²⁸

Автор

Александр Сергеевич Лавров

Профессор кафедры славистики университета Париж- XVIII Винсен Сен-Дени

allavrov@yahoo.com

²⁸ Kaiser W. Le mots du rachat. Fiction et rhétorique dans les procédures de rachat de captifs en Méditerranée, XVIe -XVIIe siècles// Captifs en Méditerranée (XVIe- XVIIIe siècles). Histoires, récits et légendes / Sous la dir. de F. Moureau. Paris, 2008. P. 103-117, здесь P.103.